

*рассказ***Елена
РОМАНЕЦ***г. Санкт-Петербург***ГОРЕНКА**

Река Хула текла мирно, в чёрной воде несла всё свершённое и несвершившееся — здесь и всюду, где корявой клюкой начертала злые знаки старуха-война, что померла да оставила в наследство голод и разруху. Глиняные бока могучей Хулы имели округлые очертания, и с горы Тейбы казалось, что это чудо природы — людских рук дело.

— Дедушко, а о чём ты думаешь?

— Думаешь... Мала ты яшшо, покормись малянько, а там, глядишь, и расскажу — о чём. Так-то. — Дед крутил в огромных мозолистых пальцах сигарку и всё не закуривал.

А спросила Горенка потому, что дед бубнил себе под нос что-то, кивал кому-то, плевался. Она представляла: так выражают то, что нельзя никому сказать. Ей нестерпимо хотелось узнать эти дедушковые тайны и хранить их под страхом смерти, совершая подвиг, сильный не каждому.

Горенка чувствовала, что смогла бы даже под пытками смолчать, да ещё шибануть пытателя по самой маковке, да и остальным, кто там будет, хорошенького задать трёпу. А потом сбежать от них, пытателей тех, — сначала полем большим да жарким, дальше — лесом болотистым да медвежьим, глиняным берегом реки уже, слава богу, родной, знакомой. Прибежать бы домой и прокричать: «Вот я кака! А вы меня всю жись худобой да хворобой попрекаете, а сможете так-то! Шо, не можоте? Ха, а я-то — вот!»

«Баушка бы — в слёзы, сосед дядь Гриша — руку пожать, — продолжала выдумывать Горенка. — А дедо сидел бы пока молча у печурки-то на скамье да как будто и не слыхивал. Долго бы сидел. Цигарку бы достал, понадкусывал, поплевался. Да вдруг очи свои карие, ясные, мудрёные, видавшие поболе всякого, поднял бы да и сказал бы: правду говоришь, девка, верю! И без единого слова, без лишнего движения окрестил бы меня, грешную, нужной да приметной для всех. И всё. Дальше — иди, дедо, кури хоть три цигарки в черенок величиной, хоть до завтрева...»

Дедушка всегда казался Горенке настолько ве-



ликим, что, понимала, не допустит он до неё, немогущей, ни врагов, ни пыток, о которых она только краем уха слыховала от служивых, а значит, не будет ей и подвига — хоть бы и того подвига ради жизни, из-за которого столькие мужчины их деревни остались без рук или без ног. Так и схоронят поди её, Горенку, бесталанную, непригодную, прозрачную, как слюда.

— Не наша ты, девка, не северна. Слыш-ко, бабка, на юг её, чё ль? — говорил дед.

Горенка слушала и молчала, а внутри у неё всё рвалось и билось. Кричать хотелось: «Нет, дедо, я ваша, ваша! Северна я! На юге меня и солнце сожжёт, и душа померкнет хуже сумерек декабрьских!..» Но в маленкости своей она не имела голоса. Голос её был сильным только внутри. Он говорил ей, шептал: «Молчи, терпи, иди...»

Горенка и пошла на улицу. А там — редкая теплота! Небо побледнело, застланное неумной светлой силой, словно само божество Гелиос явилось. Про него учителька молодая из города говаривала. Восстало это божество против холода и сырости их далёкого заброшенного края.

А в краю этом жила она — маленькая Горенка, Катюшка то есть, Андреевна — по батьке. В шупленьком, благодарном каждому редкому в тех местах солнечному лучу тельце жила особая её душа — и места в нём ей было настолько мало, что хотелось выкрикнуть часть этой души в туюгой воздух, потому что нет сил скрывать в себе то большое, что не видит никто.

И кому сказать это? Кому? Сказать, чтобы стать осмеянной? И кем осмеянной? Теми, кто в суровой жизни своей не видит дальше места, где стоит?.. Не видят они даже нутра дикого леса, в тенисто-синей могучести которого сами же и укрылись от большого мира. Они — толстокожие, смуглолицые от работы в полях жители маленькой деревни на берегу Хулы — в упор не видят, что лес этот живой! И есть у этого леса дух, и везде он: в сохлых болотных скелетах, в пучеглазых совушках, вертящих мудрыми башками, в чём-то невидимом, едва слышимом. Улавливаешь этот дух лесной кожей, когда бредёшь в одиночестве, а чудится, кто-то смотрит в спину; оглянешься — и никого нет.

Так и Горенка была словно невидимка для людей. Никто на неё не засматривался, а если и глянут — заметят только то, за что пожалеть можно.

Думали, дескать, во как девка мучается, ей-то похуже, чем им — поджарым, мускулистым от тяжкой работы, да всё же живущим, выживающим, дающим новые жизни. А она вряд ли сможет вырасти в красавицу — даром что на лицо смазлива, а на костях мяса — как на белке в марте. Худа Горенка, херенька, не проживёт долго. Все так думали. В их взглядах девочка всегда видела страх — мол, не дай боже нам таких детей.

И выло всё от досады в этом хлипеньком тельце. От пшеничной макушечки до самых кончиков аккуратных, ровных, будто фарфоровых, пальчиков, — кололо и выло. И невозможно было ей даже и протестовать: того и гляди сумасшедшей признают — тогда всё, совсем каюк. Так жила Горенка все свои девять лет: не знала, зачем живет, но чувствовала, для чего-то да и она в этом мире нужна.

А на улице-то весна в разгаре. Тепло и приятно так, что думаешь: «За эту благодать обязательно поплатишься. Не может она быть даром. Или дожди зарядят, или мороз поздний свежие семена да саженыцы побьёт». В мятушейся душе русского северянина всегда должен быть план, как спасти то, от чего зависит выживание, — других источников пропитания у него нет и не будет.

И у Горенки была мечта — совершить подвиг. Не какой-то там — котёнка спасти от собак или волка отпугнуть от телят на пастбище, или из Хулы вытащить ребёнка. Это всё пустяки, ерунда, малость. Тут и испугать никого не успеешь, как всё хорошо закончится. А потом забудется через пару недель — и опять живи в своём болоте глухоньком, глубоком, сиром; всего и радость одна — что цветасто-ароматно, теплехонько бывает и здесь, когда пора приходит.

С этими мыслями пошла Горенка оттаявшим полем, замечая первых, ещё медлительных жуков с чёрными и блестящими, как бензин, спинками, многочисленные крепкие зубчики растительности, протыкающие прелую прошлогоднюю ветошь. Вокруг набирала жирность тёмная земля, кое-где уже взрылённая голодными кротами.

«И что с того, что худа! — думала Горенка. — Нашли радость обсуждать! Зато вумная. И смелая. Вот кабы мне в настоящую историю влипнуть — ну, шоб с бандитами на конях, с пистолетами, с криками. Я их ни за что не испужаюсь!»

Потом, когда всех отлуплю палками да камнями, тогда на коня главаря сяду, яго свяжу и с ым в деревню въеду. Бабы-то как рты пораскрывают, мужики им рты-то и закроют — вот, дескать, а вы девку допекали, а она вона кака!»

От таких размышлений Горенка наполнялась какой-то могучей силой. Из живота эта сила вздымалась к рёбрам, пронизывала желудок и потом медленно, томительно булькала, жужжала, вскипала в солнечном сплетении, растекаясь по телу колкой тёплой значимостью. В такой момент девочка переставала осознавать себя снаружи, она вся собиралась внутри, как густой свекольный сок в кастрюле, которым питались в войну. Не иначе, могла бы и войско остановить! И во что же Бог вселил эту неведомую мощь и крепость человеческую? Почто не дал жилистого тела, как у других ребят, которые тоже голодают, но не хиреют на глазах? Ей-то, горемычной, и молока то и дело принесут или даже сладость какую — лишь бы не отдала концы...

И до того стало горько на душе, невыносимо. Побежала Горенка... Бежала через всё необъятное поле. Слезы лились проворными змейками по тонкой голубоватой коже. Алазоровая высь слышала, как из самой глубины Горенкиной вырываются рваные крики и звенят в воздухе битыми осколками. Кто она? Кому нужна? Почто доля Божья такой выпала, почто?!

Не заметила Горенка, как подкосились тоненькие ножки, и рухнула она в кучку выстоявших зиму сорных колосков, которые с хрустом поддались её весу — достаточно побить некогда жилистые стебли, не сломленные ни свирепыми ветрами, ни могучими морозами, ни тяжёлыми снежными заносами. Таких целых высоких колосков было немного вокруг, и они одинокими островками гордо высились над павшими собратьями и, бледнея под весенним солнцем, угасали, смиряясь с близкой кончиной.

До вечера Горенку никто не искал. Не до того: много работы, к посеву готовились.

Бабушка, думая, что внучка давно поела и снова убежала болтаться по улице, поставила в печь чугунок с мелкой сморщенной картошкой и ушла управлять с тощей коровёнкой. Придя домой и заглянув в железную кружку с кашей, бабушка нашла её нетронутой. Кусок ржаного тоже

целёхонек. Крынка воды полна... Не ела Горенка! И на чём душа держится?

Пошла бабушка на улицу звать внучку. Мрачнело на дворе. Звенел воздух безлюдьем и какой-то горечью. Бабушку пробрал мороз, стало колоть внутри и снаружи! Где ж ты, девка, хуленька наша, херенька да кровна?

Около часу искали с соседями. Бабы — чтоб их! — успели и пореветь, и отплакать.

Нашли вот...

Бледное личико было красивым: тёмные брови и ресницы, алые губы, пшеничная прядка на лбу — всё как всегда. Горенка!

Плотный тулупчик на ней сохранял оставшееся тепло, а внутри, в самой глубине, ещё тикало, легонько колыхалось. Ледяные ручки с костлявыми, но ладными длинными пальчиками были неподвижны. И что-то ещё не отпускало.

После того случая болела Горенка долго — месяца два. Соседи регулярно справлялись — жива ли?

— Жива... Жива.

— Храни Бог!

Дед в тёплые дни выносил девочку на руках, сидел с ней на толстую высохшую чурку и так сидел. Не курил. Только ласково рассказывал о следах, какие видел в лесу, о колосьях, что налились добром, о соседской собаке-дуре, истоптавшей картошку, о том, как в войну было туго, а сейчас-то «всяко не помрём».

Горенка покорно слушала, положив головку на надёжное дедово плечо. Видела она, как дед ночами не спал, когда она болела: то присядет он рядом с болящей, погладит, то оботрёт могучей рукой намокшие глаза свои, то вскочит и начнёт по комнате ходить, взявшись за седые патлы.

— Прости меня, девка, прости... — винился дед.

— Виноват я пред тобой. Никуда я тебя не пушу, ни на какой юг, будь он неладен. Слышь?

Горенка только обнимала деда крепче. Не плакала, чтобы его не расстраивать. Проглатывала колкий комок, брыкавшийся в груди.

— Я и сама-то не уеду от тебя, дедо, слышь...

Дед гладил девочку по голове и светился улыбкой — так, что седые волоски над губой разбежались в разные стороны, а морщины у глаз становились похожи на котовы усы.

Удивительно хороши были у деда зубы — бе-

лые, ровные и блестящие. Горенка любила их разглядывать в редкие минуты дедовой улыбки. Таких зубов по деревне ни в одном рту не сыщешь! Послевоенный голод и тяжкий труд лишили многих людей здоровья. Тут уж либо сильная природа у человека, либо останешься без зубов или волос. У Горенки тоже были неплохие зубы, но с дедовыми и сравнивать нечего.

Иногда Горенке казалось, что она облако. Плывёт... плывёт куда-то, забывая свою землю, родные лица, хлопоты, далёкие ей, небесной страннице. Но вдруг почует Горенка, как клокочет глубоко в земле что-то — трепыхается птицей, а потом, как придёт срок, разольётся оно речными потоками из недр подземных или обретёт очертания ростком живым, — вот тогда всё вокруг и налётся смыслом, наполнится духом неуёмной жизни. А что изменится в мире без Горенки? Ничего. Как и прежде, утром озарится земля солнцем, ночью заблестят над ней звёзды, заиграет бликами вода, будут благоухать цветы. И только она, Горенка, исчезнет с земли неизвестно куда. Разве можно расстаться со всем этим по своей воле? Жить, и всё тут!

К середине июля Катюшке позволили самой выходить на двор. Выпросилась у бабушки пойти к ребятам босой, но с уговором, что по холодным сеням пробежит в чизах, которые тревожная бабушка наденет на неё в избе. А на дворе-то все ребята босоногие! Оттого и плакала Горенка, в окошко глядя на ребят, казалось ей, что нет большего наказания, чем быть у кого-то под началом. Вот если б мамка... И тут каждый раз маленькое сердце, хранимое в этой хрупкой оболочке, сжималось — настоящее, живое.

А потом впервые после болезни вышла Катюшка босая на крыльцо: тёплые, будто живые, ступеньки так и льнули ласково к ногам, как кошка. Горенка стояла на лесенке, впитывая это тепло, подставляя беленькие полупрозрачные ладошки под горячие потоки лучей солнца.

Заметила Катюшка, как пробежал по ступеньке страшненький длиннолапый паук. А по коричнево-рыжему телу дома стекали янтарные слёзы сосновой смолы, тянулись по земле тени от резных краёв крыши, крылечного выступа и травы... Тихо было на дворе. И вдруг в этой тишине прорезался какой-то далёкий гул, будто

кричит кто-то с самого дна глубокого пустого колодца. Что это? Или чудится? Дом у них огромный, большущий тёмный сруб. И как только нашли такие ровнёхонькие стволы! «Да стволы-то живые... — подумала Катюшка. — Может, из них гул-то?» Девочка провела ладошкой по стене, приложила к ней ухо и замерла.

И опять тихо... Только, кажется, еле уловимо что-то тикает и позвякивает. Горенке представилось сердце дерева в виде хрустального колокольчика, который чуть колеблется где-то там, внутри, в полости, которую ни одному человеку не увидеть. И какой пустой этот огромный дом их после войны! Только трое в нём остались — Катюшка да бабка с дедом, а ещё хилая коровёнка — единственная, которую удалось чудом сберечь в той послевоенной голодной оторопи. Но горевать сил уже не было: беды неминуемо забываются.

Только прозвище домашнее — Горенка — и осталось Катюшке на память о том горе. Раны затянулись, зарубцевались, а оно, имечко домашнее, всё ещё кровоточило. Прозвище-то привязалось к ней во младенчестве, потому что не успела она напиться материнским молоком и теплом. Ласковые мамины руки не успели доказать крохотной Катюшке, что материнская забота защитит её, любимое дитя, ото всех бед.

Какие были у матери руки, какой голос?.. Горенке часто снилось, что мама зовёт её — то в лесной глуши, то в ветренном поле, то в молочном утреннем тумане у реки... Но ни разу не привиделась ей мать хотя бы вдаль, пусть точкой у горизонта.

Дочку мать сама назвала Катенькой, даже успела написать о том отцу на фронт и почти сразу погибла: прошлись по селу фашисты. Очень ослабла новорождённая без материнского молока. Бабка с дедом думали, не выживет внучка, а она не иначе чудом каким начала причмокивать тряпку, пропитанную жижей из муки и воды. Потом дедушка раздобыл кружку молока, а затем и перетёртую картошку приняло прозрачное детское тельце.

Так и прижилась Катюшка в мире, уцепилась за него изо всех сил и выжила посреди горя, оттого и прозвали её Горенкой. «Горенка ты наша», — слышала она с пелёнок. Не смогла проклятая война стереть с лица земли ни род Катюшкин, ни

деревенку их с благоухающими летом полями, полнокровной рекой, лазурью небесной — вечной и полной надежды. Поглядишь в это небо — и всё снести можно. А жить-то как хочется!

И пусть тяжко — трудодни, будь они неладны, еле кормят! Пусть уютится душа в костлявом теле! Да разве променяешь на что эту высь лазоревую, тепло родного дома, таинственное треньканье древесных сердец в тишине мира! Так думала Горенка и сама удивлялась своим мыслям. Выходит, взрослеет она, раз о таком задумываться стала. Чувствовала всем нутром: не бросит она никогда своё родное на произвол судьбы. И не для того в войну уцелела, чтобы всю жизнь жалели её и посмеивались. Значит, надо набираться сил и делать что-то! Ну, хотя бы для собственной важности. Вот только бы понять, за что ухватиться, с чего начать...

— Катя! — вдруг грянуло из дома: бабушкин голос.

Непривычно было Горенке слышать такое обращение. Катя... Только она решила, что настанут в её жизни перемены, как они тут же начались! Чудеса!

— Не замёрзла? — бабушка вышла на крыльцо.

— Да какое замёрзла, я вспотела! — убеждала внучка.

— Вспотела она... — Бабушка покачала головой.

А потом она села на ступеньку и заплакала. Привычно ей за хилую Горенку свою тревожиться с того самого дня, когда та появилась на свет. И теперь внучка говорит: вспотела. Как самый обычный ребёнок. Счастье-то какое! Только бы ветер не продул!

Девочка села рядом с бабушкой и обняла её, пахнущую постным хлебом, коровой, тяжёлой работой. А потом взяла её за руку, перевернула шершавую ладонь кверху и сказала:

— Ты чувствуешь, баушка, как тепло внутрь проходит через кожу?

Та улыбнулась синеватыми тонкими губами и ответила:

— Чувствую.

— Баушка, дом наш такой огромный... Кто его построил?

— Дед твой, кто... Большой, да... Для мамки твоей, для тебя... Для всех нас.

— Трое нас осталось... Места много, — вздохнула Горенка.

— Ну вот подрастёшь да и будешь жить в нём с мужем...

Горенка надула губы:

— Вот ещё...

Бабушка ласково усмехнулась:

— Глупая, я же помру. С кем останешься?

Внучка насупилась и отвернула лицо. Горькое осознание неизбежного — что бабушка когда-то помрёт — вцепилось в сердце. Как же она будет одна? И почему все её покидают? Горенка подняла красные от слёз глаза и стала всматриваться в бабушкины морщины, седые пряди, вздувшиеся вены на натруженных руках. И как ни старалась убедить себя, что эта женщина, вырвавшая её, будет жить всегда, но всё же чувствовала — силы покидают бабушку. И опять какой-то еле уловимый зябкий холодок бродит вокруг Горенки, норовя отнять дорогого человека.

К концу лета Горенка совсем окрепла. Ей казалось, что она стала очень тяжёлой. Ноги ощущались непривычно наполненными при подъёме на лесенку, а широкие, заштопанные вдоль и поперёк платица перестали болтаться на ней, как спущенные паруса на мачте. Волосы отросли. Похорошела Горенка. Люди дивились такому чуду.

Бабушка с дедушкой не могли насмотреться, как Горенка прыгает с ребятишками — то в лапту, то в чехарду. Думали: ну вот, теперь можно и гробы потихоньку сгатавливать — проживёт теперь внучка без них.

Тот день стоял особенно ясным. Сквозь хрустальный воздух проглядывали остатки лета: последнее колыхание перестоявшей зелени, растрёпанные головки растений, сбросивших семена, пожирневшие насекомые. И это золото переспелого лета на земле! Золотистые нити опутывали поле, бескрайний лес, покуда его видно — до самого горизонта. И то ли грусть одолевала от этого, то ли восхищение — оно и не разобрать, ведь человек на трудном пути упускает слишком много. Таким запомнился Горенке тот последний день, когда она видела дедушку. И болью, как душным ватным одеялом, укрылось всё природное благоухание и золотое это свечение.

А потом свезли дедушку на погост. Осталась Горенке от него только рассеянная ископыт

на песочной дороге да еловые ветки, которые упали с телеги, увозящей гроб. Внучке поначалу показалось, что бабушка не шибко переживает, но когда та стала говорить, что и ей скоро вслед за дедом, то всё Горенке стало понятно. В ясных и таких родных глазах бабушки читалось: «Не плачь, милая, хватит с нас этого мира. Только ты живи».

Дедо, умирая, успел Горенке сказать:

— Катенька, я с небес тебе подсоблю, коли сумею. Только ты, девка, на себя надейся. Найди управу на себя — живи честно да смиренно. А коли парень хороший — так благословляю тебя... Живи, девка! Живи только...

— Вот ещё, дедо, не надо мне-е-е... — выла Горенка.

— Не глупи, детка, — шептал дед. — На всё придёт час...

И пришёл час, минута последнего прощания. Горенка поняла: не имеет она права нос вешать — некому теперь заслонить её. Ушёл дедушка — ушла из большого дома сила его. И даже будто бы сквозняк в сенях стал злее. Но не сквозняк это вовсе и был — просто дедушка всегда закрывал все двери на ночь, а Катя с бабушкой хоть одну, да забывали. Оттого в непроглядной ночной тишине стучала дверь. С улицы казалось, обезлюдел осиротевший дом.

Горенка и бабушка плакали — каждая в своей кровати, вспоминали угрюмое родное ли-

цо, красивые зубы, голос его. Только не велел Горенке дедушка и про свою собственную силу забывать — стало быть, признал: есть она во внучке, сила. Раз уж выжила Горенка, окрепла, то народилась в ней крепость духа, как он говорил, «наша, северная».

Когда рядом кто-то сильный, то будто и не чувствуешь своей собственной силы. А она есть. Катерина это знала, и на самом деле она многое могла сама.

«А откуда ж эта сила берётся, когда на душе так зябко?» — думала девочка, вспоминая, как дедушко выхаживал её после болезни, как сидели они на сухой чурке, как болтали обо всём.

Подошла к Горенке бабушка, обняла внучку, погладила шершавой доброй ладонью по голове. У той стало так хорошо на душе, спокойно, мгновенно ощутила в нутре своём — от золотистой макушки до кончиков ровных загорелых пальцев — необычайную живую крепость, которая будто никуда и не исчезала, а всегда была в ней. И тут поняла Горенка, откуда животворное тепло, дающее силу, берётся: им делются любящие люди. Где-то глубоко внутри у неё, в самой груди, что-то тикнуло и растеклось по всему телу, как мамино молоко.

□

Елена Александровна РОМАНЕЦ

родилась в Архангельской области,

живёт в Санкт-Петербурге.

Окончила СПбГУВК по специальности «Культурология».

Работает корреспондентом, корректором.

Пишет стихи, прозу.

Автор двух книг стихотворений.

Лауреат конкурса «Северная звезда» в номинации «Проза».

Лауреат конкурса «Северная звезда»-2023 года.

В журнале «Север» публикуется впервые.

